

Разговор зашел о войне... Моего приятеля попросили рассказать историю его ранения...

— Руку я потерял совсем глупо. Под действием нелепого, минутного филантропизма. Меня беспрестанно мучит это ребячество, этот глупейший романтический поступок. Если бы еще знать, что та, ради кого я это сделал, была жива! Но ужасно, что я ничего о ней не знаю. Впрочем, вступления излишни. Одно скажу: руку свою я не положил на алтарь нашей победы.

Это было в сентябре 1941 года под Ленинградом. Я тогда командовал взводом. Бойцы у меня были ленинградские студенты. Дрались яростно и смело. В последних числах сентября наш полк был разбит. Помню последний день: бой шел в районе одной реки. Мы уже несколько дней держали оборону. Зеленые цепи немцев, как лава, непрерывно набегали на нас. 14 атак в день! Все кругом заволкло дымом. Сзади нас горели деревни и леса. Посмотришь туда — стая рыжих зверей

рышет и несется на нас. Солнце от дыма и пыли, казалось, истекало кровью. Мы, как кроты, зарылись в берег реки, мы приросли к земле. Уже два дня у нас не было связи с тылом. Патроны и снаряды кончались. Люди не ели двое суток. Но как только пьяная немецкая сволочь бросалась на нас, мы расстреливали ее у самых окопов, бросались в штыки и опрокидывали. Это был суший ад...

Самое ужасное — у нас выходили припасы. Был отдан приказ стрелять только с двухсот метров. Работало только три пушки. Остальные молчали. От полка к тому времени осталось человек двести. Остальные пали в этом страшном по напряжению бою.

Они валялись тут же, между нами, искалеченные, грязные, обожженные. Особенно были страшны их лица: распухшие, синие, желтые, с ледяным оскалом мертвого рта!

Смерть товарищей ожесточила нас. Мы решили погибнуть все до единого, но не отступать. А собственно, отступать и некуда было. В два часа дня разведка донесла, что путь к отступлению отрезан.

Замолкла еще одна пушка. К концу дня осталось человек двадцать. Часов в пять меня вызвал комиссар полка. Это был длинный худой человек. Еще недавно живое его лицо, когда он рассказывал студентам о золотом веке Рима, сейчас было каменным. Он стоял в окопе с непокрытой головой. Я впервые заметил, что она у него совсем белая. Он смерил меня твердым взглядом и сказал:

— Через несколько часов нас не будет. Вы должны прорваться через окружение и передать эту записку в штаб дивизии...

Я пытался возражать. Мне было мучительно больно оставлять своих товарищей. Я был недоволен выбором комиссара. Но он с несвойственной ему суровостью сказал:

— Идите, не теряйте времени. — И когда я пошел, он добавил: — Если останетесь живы, расскажите о нас.

Больше я его не видал.

Меня сковала какая-то болезненная слабость. Ноги подкашивались. Хотя я не скажу, чтобы я тогда трусил. Нет! Просто меня охватывал ужас при мысли о том, что я должен навсегда расстаться с людьми, которые были для меня роднее родного брата, к которым я прирос душой и телом. Страшно было подумать, что через час, а может быть, меньше, падут последние товарищи, что над их телами будет глумиться каннибальская орда немцев. Я видел, что сопротивление наше слабеет. Оставшиеся в живых десятка два бойцов, оглохшие и ослепшие от боя, озверевшие от кровавого чада, делали отчаянные усилия, чтобы отбить наседавших немцев. Почти все они были ранены, кто в руку, кто в ногу, и в промежутках от стрельбы, захлестнутые болью, корчились и как-то глухо, словно из земли, стонали, скрежетали зубами и отплевывались. Никто не говорил, ибо это было бы расточительством сил. Приговоренные к смерти, они дорого решили отдать свою жизнь. Это зловещее, предсмертное молчание людей в адском грохоте боя — страшная моральная пытка.

С минуту я колебался. Сердце подсказывало — не уходи! Приказ требовал — иди! Приказ взял верх. Я боялся своим неповиновением, хотя вполне понятным, вызвать гнев комиссара.

Я не мог заставить себя проститься с товарищами. Я боялся их глаз. В них, вероятно, плескалась смерть. Они бы пригвоздили меня, я не смог бы вопреки всем доводам рассудка покинуть этих родных смертников. Я засунул за пазуху

пару гранат, заткнул за голенище штык от самозарядки и, не оглядываясь, пополз к реке. Вдавливая тело в землю, подтягиваясь на руках, перебегая от воронки к воронке, я дополз до реки. Пот заливал меня, грязь, как панцирь, облепила мое тело. От грохота я совершенно оглох, от огня ослеп. Я вплавь перебрался через реку. Когда вышел на противоположный берег, немцы, вероятно, заметили меня, потому что мины и снаряды буквально изрыли и иссекли все вокруг меня. Мне пришлось залечь в кусты и выжидать. Стало темнеть. Когда я так лежал, мне послышалось, что там, где мои товарищи дрались, два-три голоса запели «Интернационал». Потом я, кажется, слышал крик комиссара: «Ура!» Потом уже ничего нельзя было слышать. Все потонуло в вое и грохоте.

Я снова пополз вперед. Стало совсем темно. Бой сзади затихал. Видимо, последние из наших пали. Не знаю, долго ли я так полз. Своим ориентиром я избрал горящую деревню, которая была от меня в километрах трех-пяти. Это было зловещее зрелище: в крошечной темноте целое море огня. В воздухе летали горящие бревна. По-видимому, ее подожгли немцы, и бой сейчас шел за нее. Я решил пробраться туда в надежде найти штаб дивизии. Не знаю, долго ли я полз. Когда стемнело, я встал и пошел во весь рост. Нервная нагрузка была столь велика, что я еще не вполне давал отчет в происшедшем. Голодный, измятый, будто выплюнутый из пасти самого сатаны, я шел, как лунатик. Отчаянное безразличие овладело мною. Путь мой был невероятно опасен. Каждую секунду я мог взлететь на воздух. Потому что мины там были зарыты всюду. Но я тогда об этом не думал. Одна мысль сверлила меня: «Идти, идти... Только вперед».

Когда я переваливал через один холмик, мне послышалось, будто в стороне от меня кто-то стонет. Я остановился. Да, это был стон — слабый, почти детский, приглушенный. «Наверно, раненый», — подумал я и, вынув гранату из-за пазухи, осторожно пополз на стон. Я не ошибся. Когда я был метрах в пяти от раненого, где-то в стороне вспыхнула ракета, и я увидел маленького человека в красноармейской форме. Он лежал навзничь, как распятый, без сознания. Это была девушка, маленькая, тоненькая. В темноте нельзя было разглядеть лица. Рядом с ней валялась санитарная сумка. Значит, она — сестра. Я отыскал ее руку и стал искать пульс. Рука была маленькая, теплая. Она просто таяла в моих руках. Под моими пальцами слабо забились жилки.

Я нашел ранение. Левый рукав разбух от крови. В санитарной сумке не было ни одного бинта. Что делать? Я растянул ремень, сбросил с себя фуфайку и кинжалом вырезал весь перед своей нательной рубашки, потом разрезал рукав ее гимнастерки и кое-как перевязал ее руку. Она все слабо стонала. Но рана была небольшая. Вероятно, ее ранило осколком мины и контузило разрывной волной.

Положение мое было трудное. Я не мог бросить раненую сестру, но и не знал, что с ней делать. Нести ее на себе? Но куда? А вдруг я попаду в лапы к немцам? Что тогда будет с ней? Но оставлять тоже нельзя. В конце концов я взвалил ее на себя и пошел вперед. Удивительное дело — идти мне стало легче, как это ни парадоксально. Не знаю, сколько нес ее — может, километр, может, два.

Горящая деревня впереди стала вырисовываться четче. Там было светло как днем. На улицах можно было различить маленькие фигурки бегающих людей. В общем хаосе воя и грохота я выделил звуки нашего и немецкого пулеметов. Значит, там дрались наши. Я уже стал было размышлять о том, с какой стороны деревни наши, с какой немцы, как вдруг почувствовал, что шагнул в пустоту, и в ту же секунду свалился в какую-то яму. Я упал очень больно. Но боль во мне за-

глушил тяжелый стон девушки. Я ее придавил. Когда я встал и поднял на руки девушку, я увидел, что яма была окопом. Внезапно начался бурный дождь. Дальше идти вдвоем было опасно. Можно было попасть к немцам. Моментально возникло решение: найти землянку, которая непременно должна быть возле всякого окопа, оставить девушку, а самому разведать путь и еще затемно возвратиться сюда, чтобы вынести девушку.

Не теряя ни минуты, по-прежнему с девушкой на руках я стал исследовать окоп. Окоп оказался длиной метров в пятьдесят, и в конце его, как я и рассчитывал, была землянка. Я ошупью открыл двери и почти ползком влез в нее. Землянка была пустая. Это была обыкновенная фронтная, наспех вырытая землянка, вероятно, двумя приятелями. Потолок лежал совсем низко, так что нельзя было распрямиться. Но было довольно сухо. Осторожно и бережно я положил девушку на пол, потом скинул фуфайку и подостлал под нее. Хотя девушка была маленькая и легкая, хотя я почти все время шел во весь рост, но усталость и напряжение последней недели взяли свое. Я, как пьяный, свалился и тут же почувствовал, что смертельно устал.

Несколько минут я лежал как мертвец, не имея сил ни подняться, ни о чем-либо думать. Потом страшным усилием воли я возвратил себя к действительности. Надо было идти, разыскивать наших. Девушка тихо стонала. Мысль о том, что с нею может что-нибудь случиться без меня, парализовала мое решение.

Стояла все та же сплошная темень, как-то уродливо просачивались к нам звуки боя. Глухо донеслось русское «ура» — значит, наши пошли в атаку. Нет, надо идти. Девушке нужна помощь. В то же время ужас охватывал меня при мысли, что она останется здесь одна.

Но я отодрал себя от этих мыслей и почти голый по пояс, в одной разорванной рубашке, пополз к выходу. Я умышленно не прощался с нею, так как боялся поддаться слабодушию. За несколько часов она стала для меня невероятно дорогой, близкой. Но только я стал отворять дверцы, как раздался оглушительный треск, земля заходила подо мной. Глаза ослепило огнем, и меня швырнуло назад. Я потерял сознание. Я не знаю и сейчас точно, что тогда случилось. Но думаю, что немцы, смяв остатки нашего батальона и продолжая двигаться, для верности расчищали путь себе артиллерией. Вероятно, один из снарядов разорвался около землянки, и меня отбросило волной.

Когда я пришел в себя, первым делом пополз к девушке. Она не стонала. Мне до тошноты стало страшно: вдруг она умерла? Но она была жива и все еще без сознания. Я ошупал руку. Кровь больше не сочилась. Стало немного легче. Еще не понимая, что случилось, я добрался до дверцы и нажал на нее. Она не поддавалась. Я навалился изо всех сил, но тщетно — она будто вмерзла. Тогда я стал в нее бить ногами — бесполезно. Тут страшная догадка просверлила мой мозг: нас засыпало. Вероятно, где-то совсем рядом разорвался снаряд, захлестнуло дверцу и засыпало землей. Понемногу я стал понимать наше положение. Мы замурованы в могиле и рано ли, поздно ли задохнемся от недостатка воздуха. Землянка была вырыта в стенке окопа, и только маленькая дверца соединяла ее с внешним миром.

Но не умирать же этой нелепой смертью. Мой мозг стал лихорадочно работать, и я нашел выход. Хотя я не знал, как была толста дверца землянки и как толст пласт земли, заваливший ее, я решил прорубить в дверце дыру и прорыть нору наружу. Чтобы чувствовать себя свободней, сбросил сапоги и ключья рубахи и немедленно приступил к делу. Но при первых же ударах кинжала убедился, что это

бесполезная работа. Надо, по меньшей мере, рубить топором, чтобы реализовать мое бредовое решение. К тому же брало сомнение: а что если за дверцей набито несколько метров сплошной земли? Тогда бесполезны все усилия.

В то же время что-то внутреннее настойчиво обнадеживало иллюзиями и о тонкости дверцы, и о незначительности земляного слоя. А тут еще в углу раздался стон девушки. Она скрипела, как молоденькая березка в бурю. Потом мне почудился шепот. Я подполз к ней, нагнулся. Она бредила. Рот ее так и пылал жаром. Она звала какого-то Колю. Это больно ущипнуло меня за сердце, но только на мгновение. Потом какая-то мутная и теплая волна залила все внутри. Этот лепет раненой девушки смягчил мое отчаяние. Захотелось до боли, до слез, чтобы и мое имя слетало с чьих-нибудь губ. И все всплыло вдруг: и деревня, и синий платочек, и девичьи глаза, и все в этом роде. И безумная ненависть, исступленное бешенство овладело мною.

Клял ли я виновников этого кровавого ада, именуемого войной, — не помню. Наверно, да. Помню только, что болезненная слабость прошла, и я с остервенением принялся за работу. Сначала рубил и отковыривал дерево где попало, потом, ощупывая пальцами, стал вырезывать борозды. Мало-помалу мне удалось сосредоточиться на этом, казалось бы, безнадежном деле. С упорством маньяка я долбил и резал, долбил и резал, как крыса, въедался в дерево. Через некоторое время я мог нащупать небольшое углубление. Пот заливал глаза, ноги затекали, так как приходилось сидеть согнувшись, спина деревенела, руки немели. Не знаю, долго ли я так работал. Конечно, это был нечеловеческий труд. Руки были все изрезаны, искромсаны, ногти оборваны. Когда я отирал пот с лица, кровь с рук стекала в рот, меня тошнило. Мучительно хотелось пить. Внутри все жгло.

Ритм моей работы затихал, отчаяние снова брало меня. И вдруг кинжал ударился в песок. Дерево в одном месте проткнуто! Еще столько же усилий, и я прорублю наконец дыру, достаточную, чтобы пролезло мое тело. С новым ожесточением я начал рубить и кромсать дерево. Прошло, вероятно, много времени, когда я смог просунуть в дыру голову. Вдруг мне послышалось: «Воды, воды!» Это просила пить девушка. То, что она пришла в себя, меня бесконечно обрадовало. Но воды не было. Пока я был поглощен работой, я еще мог подавлять в себе жажду. Но теперь почувствовал, что и мне смертельно хочется пить.

Я добрался до нее. Видимо, она почувствовала мое присутствие и лихорадочно прошептала: «Я ничего не вижу. Я ослепла». «Да нет же, нет, — стал я успокаивать ее, — здесь просто темно...» После этого она снова впала в бред, но даже и в бреду не переставала просить воды. Ее муки, ее жажда заглушили во мне мои собственные боли. Впрочем, нет, каждый слабый крик ее — «воды» — впивался в меня ножом. Эта крошечная ночь, эта глухая земляная дыра спаяли нас намертво. Ее муки, ее страдания стали моими муками, моими страданиями.

Жара и удушье стали невыносимыми. Голова пылала. Казалось, кто-то невидимый сдавливал ее железными ручищами. Вот-вот лопнет. Это — следствие недостатка воздуха. Я снова принялся долбить дверцу. Но девушка не переставала просить пить. Внезапно у меня вспыхнула невероятно чудовищная мысль: взрезать руку и напоить ее кровью. Я не рассуждал тогда, принесет ли это пользу. Чем более я убеждал себя в нелепости этой затеи, отдающей дешевой романтикой, тем более хотелось ее сделать. И я сделал.

Снова приполз к ней, перевязал ремешком руку выше локтя, поднял над ее лицом, распорол ножом. Это был какой-то бред. Чтобы не зареветь от боли, я заткнул

рот тряпкой. И все же, когда нож впился в руку, я закорчился от боли. Тем не менее я был рад: из руки полилось жидкое (не важно, что кровь). Но раз жидкое — можно пить. Когда кровь упала в ее рот, она стала причмокивать, как грудной ребенок. А потом начала плевать, ее стало тошнить. Я понял, что мое самозаклание было излишним. Кое-как удалось остановить кровь, перевязать руку. Убитый неудачей, обессиленный, я снова принялся за работу.

В конце концов мне удалось вырубить необходимую дыру. Я выбивался из последних сил. Повязка съехала, руки и тело были в крови. Казалось, я плавал в крови. Скорее инстинктивно, чем сознательно, я стал прорывать нору в земле. Да, инстинктивно, ибо мысль о необходимости продолжать работу уже перестала быть мыслью, а стала инстинктивным стимулом.

Дышать становилось трудно, воздух выходил. Это была какая-то зловонная парильня, будто тебя варят в котле. От захлебывающегося стога и бреда девушки можно было сойти с ума. Работа осложнялась еще и тем, что отрываемый песок приходилось выгребать в землянку, на что уходил двойной труд. Я знал, что останавливаться нельзя, потому что это означало бы смерть. Остановившись, я уже не смог бы начать снова. Ужас голодной и подземельной смерти перегнал всю энергию тела в руки, и, хотя они совершенно онемели, я рыл и рыл.

Вдруг я услышал пальбу над головой. Значит, близко поверхность! Действительно, в ту же секунду на мою голову рухнула подкопанная земля, и я, как мешок, вывалился из дыры. Потом, когда ко мне вернулась способность соображать, мне послышалось, что кто-то говорит. После мучительного напряжения мой слух уловил чужие слова, немецкие.

Итак, окоп был занят немцами. Это было ужасно! То, что минуту назад казалось спасением, было нашей смертью. Последние минуты, проведенные мною в землянке, помню совсем смутно. Это открытие убило меня, только вспыхнувшая надежда на спасение была выжжена безысходным трагизмом положения. Но хлынувший сверху воздух, влажный, полевой, немного освежил меня. Тем не менее у меня начались галлюцинации. Кошмар, которому я так долго сопротивлялся, наконец вошел в силу.

Я не помню, что было далее. Вероятно, проблески сознания все же появлялись. Я ощутил себя ползущим по земле с ножом в зубах. Левая рука вышла из повиновения и волокла, как плеть. Пал дождь. Окоп пылал от вспышек пулеметов. Наши атаковали его. Со всех сторон несло мощное «ура». Тогда мне стало понятно, почему в зубах у меня нож. Наверно, в один из моментов прояснения я решил вылезть из норы и броситься с ножом на немцев. По крайней мере, это была почетная смерть.

А теперь, теперь в голове установилась удивительная четкость мысли, и невероятная слабость, сонливая, без боли, разлилась по всему телу. Медленно, как щенок, я полз по брустверу окопа к ближнему пулемету. Должно быть, это была интересная картинка: с одной рукой, голый по пояс, полубезумный человек ползет на пулемет.

Я уже был метрах в десяти, уже различал лица пулеметчиков, как что-то тяжелое хлопнуло по голове. Я потерял сознание. А очнулся в госпитале.